

**XVI / 1997:2**

# **EUROPA ORIENTALIS**

**STUDI E RICERCHE SUI PAESI  
E LE CULTURE DELL'EST EUROPEO**

*Numero 2 del 1997*

## ОБЕЗВЕЛВОЛПАЛ А. М. РЕМИЗОВА КАК ЗЕРКАЛО РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Сергей Доценко

**С**озданное русским писателем А. М. Ремизовым мифическое “обезьянье” общество — Обезьянья Великая и Вольная Палата — до сих пор остается не до конца понятным феноменом, почти не имеющим аналогов в истории русской культуры.

Игра в Обезвелволпал многими современниками писателя воспринималась как шутка, розыгрыш, дурачество — забавная затея Ремизова, изумлявшего литературный Петербург-Петроград (а затем — Берлин и Париж 20-50-х годов) своими чудачествами и мистификациями. В этой игре проявилась прежде всего та “веселость духа”, которая не покидала Ремизова на протяжении всей его нелегкой и далеко не всегда веселой жизни, помогая переносить житейские невзгоды и лишения. Сам Ремизов в мемуарной книге *Петербургский буерак* отчасти раскрыл происхождение обезьяньего общества: Обезвелволпал вырос из детской игры в обезьяньего царя Асыку. А первый обезьяний знак, прообраз будущих обезьяньих грамот, которые вручались князьям и кавалерам Обезвелволпала, был сделан для “Ляляшки” — Е. С. Ремизовой, племянницы писателя (Ремизов 1923: 38-39). Затем, по словам Ремизова, “от детей игра перешла к взрослым и “обезьянье царство” как-то само собой получило в войну и революцию сатирический характер свифтовского лошадиного царства *гуингнмов...*” (1981: 188). В этом признании Ремизова примечательны два момента: связь Обезвелволпала с сатирическим памфлетом Дж. Свифта и связь Обезвелволпала с эпохой войны и революции 1917 г. Последнее подчеркнем особо: общепринятое мнение о том, что Обезвелволпал возник в 1908 г. (т. е. в год написания *Трагедии о Иуде принце Искаротском*, где впервые появляется обезьяний царь Асыка), противоречит свидетельству писателя, согласно которому первые грамоты князьям и кавалерам Обезвелволпала (Ф. Ф. Комиссаржевскому, А. П. Зонову и В. Г. Сахновскому) были написаны и вручены в феврале 1916 г., сразу после премьеры

*Иуды* на сцене Театра им. В. Ф. Комиссаржевской (см.: Ремизов 1923: 39). Существование более ранних по времени обезьяньих грамот пока не документировано. Следовательно, годом возникновения Обезвелволпала с большим основанием нужно считать 1916 г. — 2-й год войны и канун революции. Это предположение подтверждается обезьяньей грамотой И. Д. Галактионову, на которой под датой написания грамоты (1. I. 1921) рукой Ремизова сделана приписка: “VI г. обезвелволпал<a>” (см.: Ремизов 1993: 26-27). Связь Обезвелволпала с событиями и настроениями эпохи русской революции 1917-1920 гг. косвенно подтверждается и включением его основополагающих документов (“Манифеста”, “Конституции”, “Донесения обезьяньего посла обезьяньей вельможе” и др.) в автобиографическую книгу *Взвихренная Русь*, посвященную жизни писателя в 1917-1921 гг. Таким образом, игра в Обезвелволпал обнаруживает смысл и цель более серьезные и значительные, чем просто развлечение. Обезьянья утопия Ремизова если и не возникла исключительно в связи с революцией, то, по крайней мере, приобрела новый смысл и новый импульс в качестве реакции на совершавшиеся в России политические события, быт революционного Петрограда. В самом общем виде эту связь между реалиями эпохи революции и Обезвелволпалом отметила Е. Обатнина (1996: 198):

Взаимообращение выдумки и серьезного особенно проявилось в Октябрьскую революцию, когда Обезьяний орден представлял собой “антимир”, противопоставивший свое сообщество реальному людскому разьединению, разногласию и противоборству. <...> это и пародия на уродливые формы большевистского режима.

В целом верный вывод исследовательницы нуждается как в детализации, так и в некоторой корректировке (в частности, для Ремизова и дооктябрьский, и послеоктябрьский — “большевистский” — периоды русской революции не имели принципиальных различий). В событиях 1917-1920 гг. Ремизов видел трагедию чаемой, но не обретенной Россией *свободы*:

Никогда так ярко не горела звезда — мечта человека о свободном человеческом царстве на земле, Россия в семнадцатый год! но и никогда и нигде на земле так жестоко не гремел погром (1991: 272).

Идея свободы человека обернулась, по мысли Ремизова, торжеством рабства, еще худшего, чем прежде. 8. III. 1917 г. он пророчески записывает в дневнике: “Тогда [т. е. при царизме - С. Д.] было рабство и теперь тоже. Но теперь рабство худшее” (1994: 423). А в записи от

14. III. 1917 г. замечает: “Русский народ еще не дорос до свобод” (1994: 424). 15. VII. 1917 г. он вновь возвращается к попытке понять происходящие события:

А подъяремные рабы рабами и остались. Откуда же рабу и измениться. <...> За эти месяцы столько было совершено насилия и не “темными силами”, а партиями. <...> Да уж худшего, что есть, едва ли и было когда. Реки крови льются; убийства, насилия, грабежи, тюрьмы, каторга, все есть, все, все. Промышленность остановилась, голод, свободное слово задавлено, о совести что говорить, ее нынче никто не признает, да и нет ее. Такая “русская” свобода не дорога. И никто не дорожит ею (1994: 455).

3. IX. 1917 г. — опять полная горечи запись: “Все ценности не переоценены, а подменены. Первая: свобода — какая это насмешка России — какое издевательство” (1994: 461). Обезьянье царство царя Асыки, наоборот, предстает как мир истинной свободы: “...У нас, в обезьяньем царстве, свободновыраженная анархия, но она подчинена строгим правилам и выработанным формам, которым каждый подчиняется совершенно свободно” (1991: 389). А в “Обезьяньем свидетельстве” сказано, что кавалер обезьяний “волен делать, что хочет, и думать, как взбрдет в голову, храня хвост” (1991: 389).

Другая причина трагедии русской революции (да и всей русской истории) названа Ремизовым в *Слове о гибели русской земли*: “Нет правды на русской земле!” (1991: 320). Мир людей (“гнусное человечество, омрачившее свет мечты и слова” (1991: 377)) — это мир лжи и лицемерия, и это особенно проявилось в событиях русской революции. 21. IV. 1917 г. Ремизов записывает в дневнике: “Россия гибнет от того, что не держат слова. <...> Сколько обмана, сколько путаницы” (1994: 426). Еще определеннее — в записи от 23. IV. 1917 г.: “Сегодня 2 месяца русской революции. Читая газеты, как-то проникаешь в ту страшную ложь, которой люди опутывают себя. Нигде нет такой лжи, как в газете” (1994: 427). Запись от 6. V. 1917 г.: “Партиям не нужна никакая правда, им нужно, чтобы показать правоту партии: потому так и много лжи” (1994: 428). Аналогичное рассуждение находим в *Взвихренной Руси*:

И до чего эти все партии зверски: у каждой только своя правда, а в других никакой, везде лишь ложь. И сколько партий, столько и правд, и сколько правд, столько и лжей (1991: 266).

Неправда для Ремизова — едва ли не главная причина жестокости и насилия, которые творились и творятся на Руси:

Посмотрите: прогнивает от неправды человеческое сердце. Кровь — три года нож и пуля! — кровь и грязь — все хватком, все нахрапом, “не обманешь, не купишь?” <...> Бессовестье душит Россию. Гневом дремучего сердца обличите вы эту неправду, эту ложь, кровавую мару (1991: 338).

Мир же обезьян, как то следует из “Манифеста” Обезвельволпала, — это мир правды и искренности: “... здесь в лесах и пустынях нет места гнусному человеческому лицемерию, <...> здесь вес и мера настоящие и их нельзя подделать и ложь всегда будет ложью” (1991: 377). В данном фрагменте очевидны реминисценции из лошадиной утопии Дж. Свифта: эпитет “гнусный” постоянно употреблялся гуингнгами в отношении “еху” (людей), а сами они не умели лгать, и даже слов “ложь” и “обман” в их языке не было.

Видя ложь и лицемерие в программах и лозунгах всех политических партий и движений, Ремизов придает своему обезьяньему царству статус альтернативы всем этим партиям и движениям эпохи русской революции, всем “‘свободолюбивым’ человеческим ячейкам” (1991: 389): “обезьянье” начало противопоставляется “изолгавшемуся человеческому с его прописной моралью, лицемерием и лавочной религией” (1986: 88).

Внешне-формально Обезвельволпал напоминает “общественную организацию”: здесь и использование аббревиатуры в качестве названия (что было характерно для многих политических партий и движений — эсэры, эсдеки, кадеты, Викжель, Викжедор и т. п.), и наличие “уставных” документов (Конституция, Манифест), и бюрократические атрибуты (иерархия членов, делопроизводство, гимн, должность канцеляриста, печать и т. п.). Примечательны мистифицирующие ссылки канцеляриста Обезвельволпала (А. Ремизова) на бюрократизм и взяточничество, якобы царящие в Обезвельволпале — когда В. Розанов ходатайствовал о том, чтобы приняли в Обезьянью палату А. В. Руманова, Ремизов объяснил, что “вообще-то все это зависит от канцелярии, а в канцелярии взяточничество самое зверское: надо подать прошение и при этом обезьяний хабар” (1923: 40).

Но по сути все черты и признаки “общественной организации” или “партии” в Обезвельволпале спародированы, даны, так сказать, с обратным знаком. Это проявилось прежде всего в отсутствии “программных целей” (“цели и намерения неисповедимые” — неизвестность целей равнозначна их отсутствию) и денежных средств. Но важнее другое: членство в политической партии или организации основано на об-

щности политических взглядов и убеждений — в Обезвельволпал же принимались люди самых различных (зачастую — противоположных) политических взглядов, а еще лучше — вовсе аполитичные. Обезвельволпал по своей сути — скорей “анти-партия”, т. е. объединение, созданное на основе не политических, а общечеловеческих ценностей и принципов, среди которых главными были: свобода, правда и человечность.

Глубоко закономерна апелляция ремизовской игры в Обезьяньей палату к детскому началу в человеке, свойственному до- и внеполитическому сознанию (именно “детскость” в человеке подразумевает такие черты, как искренность и человечность). В контексте отмены сословий в 1917 г. пародийной контроверзой предстает сохранение в Обезвельволпале монархическо-сословной структуры (*царь обезьяний Асыка, обезьяньи князь и кавалеры*).

Важную знаковую роль играл в обезьяньей утопии Ремизова обезьяний язык, а также письменность — глаголица. Орфографическая реформа 1918 г., в результате которой из русской азбуки были изъяты устаревшие буквы, воплотила идею создания “нового” языка новой эпохи. В пику этой новации Ремизов для обезьяньей письменности выбирает самую древнюю славянскую азбуку, глаголицу (сам Ремизов и после 1918 г. был “старовером” — придерживался старой, дореволюционной орфографии, хотя в 40-50-е годы и не всегда последовательно). Глаголица, как представляется, символ не только древности (и — непонятности), но и символ исторического единства нации и государства на фоне спровоцированного революцией распада, разложения России как исторического целого. Примечательно, что, размышляя на страницах дневника о скорой “погибели” России, Ремизов вспоминает библейскую легенду о Вавилонской башне и “смешении языков”, ибо в ней видит прецедент катастрофы эсхатологического масштаба: “Решилась Россия. Вавилонская башня. Смешение языков” (1994: 462). Сохранение России как народа и государства видится Ремизову через сохранение русского языка (эта тема станет одной из главных в эмигрантский период творчества Ремизова). Но все-таки на первом месте стоит для него идея противопоставления “обезьяньего” языка “человеческому” как истинного — ложному, порождающему фальшь и лицемерие.

Язык ремизовских “обезьян” состоял всего из 3-х слов: “ахру” (огонь), “кукха” (влага) и “гошку” (еда). С одной стороны, в немногочисленности слов обезьяньего языка можно увидеть аналогию с языком “лошадей” Свифта (ср.: “Язык гуигнгнмов не отличался обилием и

разнообразием слов”). С другой — эти три слова обозначают те главные, истинные (“естественные”) ценности, без которых невозможно бытие человека и человечества как таковое. Особую актуальность эти ценности приобрели в холодном и голодном революционном Петрограде 1917-1920 гг. И дневник Ремизова, и автобиографическая “Взвихренная Русь” переполнены сетованиями на нехватку или отсутствие дров (тепла, т. е. “ахру”), воды (“кукха”) и еды (“гошку”). Если политическая лексика и фразеология в силу их многословности и лживости создают ложные ценности, то 3 обезьяньих слова обозначают ценности насущные, следовательно, истинные и вечные.

Уже не раз отмечалось, что для Ремизова исключительно важны предметы быта, домашнего обихода, всякие житейские мелочи. Мир Ремизова — поистине мир *вещей*, которые живут своей жизнью, вступая в сложные взаимоотношения с человеком (Цивьян 1993: 218-224). Отсюда — особая ремизовская “философия вещей”, философия житейских мелочей, в значительной степени определившая и ремизовский взгляд на мир, в том числе — взгляд на исторические и политические события. Ремизов пытается посмотреть на них глазами “маленького человека”, обывателя, и смысл совершающегося понять через призму обыденного, житейского. Мир бытовых мелочей — это мир дома, семьи, уюта, покоя и благополучия (особенно остро осознаваемых на фоне “страннической”, “кочевой”, часто бездомной жизни писателя (ср. 1986: 30, 51, 63). Революция же — стихия, “вскруть жизни” или “выверт жизни” (1991: 270, 252). А еще точнее: “взвив теснящихся вещей” (1991: 270), разрушение старого, привычного мира — устоявшегося порядка вещей.: “эти годы в России, когда жизнь вся ломалась и с места на место передвигались люди и вещи!” (1991: 438). Революция, несущая угрозу разрушения теплого и уютного мира вещей, тем самым грозит разрушить дом и семью, разрушить *быт*, эту основу жизни человека — его *бытия*. Признавая неизбежность революции, Ремизов задается вопросом: что несет революция не обществу “вообще”, а конкретному человеку? Как ни парадоксально, несет она угрозу жизни, понятой как: “свободу самую быть на земле самим” (1991: 247). Иными словами, речь идет о праве человека на личную свободу, личное счастье, — “покой и волю”. А личное счастье и личная свобода невозможны вне быта — основы бытия человека. В таком ключе надо понимать вопрос, которым задается Ремизов в *Взвихренной Руси*: “Человек или стихия? Революция или чай пить?” (1991: 269-270; также: 251, 265, 529). Очевидным литературным подтекстом этого вопроса является откровенно обывательский эгоизм героя *Записок из подполья*:

Мне надо спокойствия. Да я за то, чтоб меня не беспокоили, весь свет сейчас же за копейку продам. Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить (Достоевский 1989: 543).

Как считает Н. Sinany–MacLeod, Ремизов, перефразируя героя *Записок из подполья*, “указывает на то, что, как и подпольный человек, он восстает против детерминизма, против чистой социологии быта” (Sinany–MacLeod 1987: 238-239; ср. также: Slobin 1991: 124; Aronian 1992: 135; Waszkielewicz 1994: 127-128). Как нам представляется, позиция Ремизова не столь однозначна. Прежде всего потому, что он не отождествляет себя полностью с “подпольным парадоксалистом” Достоевского, он ставит только вопрос, а не делает окончательный выбор. Ремизову чужд обывательский эгоизм (“весь свет сейчас же за копейку продам” — как заявляет герой Достоевского), но в законном желании человека “чай пить” для него сосредоточена правда и право человека на личное счастье и личное, житейское благополучие, — право жить, не подчиняясь диктату “общего дела” — революции.

В дилемме Ремизова скрыта попытка “реабилитации” житейского, даже обывательского начала, того самого быта, в котором и проявляется человечность: “Чай-то пить совсем не так легко, как кажется! Ведь, чтобы чай пить, надо прежде всего иметь чай” (1991: 251). В ремизовском “чай пить” — защита перед лицом исторического потрясения, каковым является революция, домашней, частной жизни человека, противопоставленной жизни общественной и политической, безразличной к судьбе отдельно взятого человека.

“Гастрологема” Ремизова “чай пить” — одна из ключевых в биографическом и художественном пространстве писателя. Пристрастие к чаю — черта быта Ремизова: и в Петербурге, и в Берлине, и в Париже в доме Ремизовых гостей всегда угощали чаем (если он был): “Я как-то зашел к ним. Открыла мне Серафима Павловна. Сейчас же, как всегда, стала чайком поить (воспоминания Н. Гумилева, см.: Одоевцева 1988: 210). Ремизов и сам, по воспоминаниям современников, умел и любил заваривать и разливать чай (см.: Резникова 1980: 64, 75-76; Шаховская 1991: 122, 130; Яновский 1993: 188, 190; Пайман 1987: 109). Этой же чертой он наделил свое alter ego — А. А. Корнетова, героя автобиографической книги *Учитель музыки*: “Корнетов готовил чай. Не отступая от своего обычая, он закутал чайник шерстяным платком, выжидая какие-то настоятельные минуты для заварки” (1983: 129-130; см. также: 39, 54, 106, 180; Ремизов 1917: 54).



Чай из реалии быта (в том числе — домашней жизни Ремизова) превращается в своеобразную идеологию, символ размеренной, спокойной и благополучной жизни, особенно — в романе *Канава* (1914-1918), где герой, Антон Петрович Будылин, любовь к чаю соединяет с пристрастием к философствованию:

Антон Петрович наливал себе крепкого чая, уносил стакан в свою комнату и пил там не спеша — с удовольствием. И наступали блаженнейшие минуты. <...> Усаживался Антон Петрович у окна против брандмауэра, попивал чаек. И шли мысли легонечко — по ветру” (1991а: 426).

Попивая чаек, Будылин размышлял о добре и зле, о душе и жизни человека, о человеческой истории, ибо “без чаю не выходило никакой философии” (1991а: 437). “После обеда <...> сели чай пить. Время философствовать...” (1991а: 458; также: 435, 437, 438, 441, 462, 479, 480, 525). Образ стремящегося к покою и комфорту обывателя-философа Будылина (ср. в связи с мотивом ни к чему не стремящегося, бесполезного человека возможную этимологию фамилии “Будылин” — от слова “будыльник”, имеющего по Далю собирательное значение: *бурьян, бурьянник*, т. е. всякая сорная трава, сорное растение) восходит не только к *Запискам из подполья* Достоевского, но и к образу близкого друга Ремизова — философа и публициста В. В. Розанова. Оставляя в стороне сопоставление философии Будылина со взглядами Розанова, как, впрочем, и другие параллели, преимущественно биографического характера, подчеркнем один мотив: любовь Розанова к философствованию за “утренним чаем” (или — кофе). Образ обывателя, “мирного человека”, домашнего философа последовательно создавался самим Розановым в его книгах *Опавшие листья, Уединенное, Мимолетное*:

Люблю чай; люблю положить заплаточку на папироску (где провано). Люблю жену свою, свой сад (на даче), никогда не волнуюсь и никуда не спешу. Такого “мирного жителя” дай Бог всякому государству (*Опавшие листья* - Розанов 1990: 198-199).

Примечательно, что атрибутом быта (и бытия) “мирного человека” В. В. Розанова оказывается именно и в первую очередь — чай. Заметим кстати, что Ивана Семеновича Стратилатова, героя повести *Неуемный бубен* (1909), явно спроецированного на Розанова (Данилевский 1987: 150-165), Ремизов также наделил пристрастием к чаю: “Стратилатов любит чаю попить, пьет его помногу, не спеша...” (1990: 160). Имя Ро-

занова в контексте ремизовских размышлений о “чае” и “революции” появляется отнюдь не случайно. В главе “Медовый месяц” *Взвиренной Руси* именно после встречи с Розановым (27. V. 1917 г.) Ремизов пытается понять значение слов, горько сказанных Розановым: “Мы теперь [в революцию - С. Д.] с тобой не нужны” (1991: 269).

Как? Розанов не нужен? Теперь, в этой вскрути жизни, мечтавший всю жизнь о радости жизни?

Розанов или тысяча тысяч вертящихся палочек?

— Человек или стихия?

— Революция или чай пить? (Ремизов 1991: 269-270).

Розанов, демонстративно деклариовавший в своей публицистике философию обывателя, часто язвительно-иронично отзывавшийся о “революции”, “общественности”, “партиях”, “политике”, становится для Ремизова олицетворением частной жизни и неотъемлемого права человека на такую жизнь — вне политики и вне “общественности”:

Народы, хотите ли я вам скажу громовую истину, какой вам не говорил ни один из пророков <...> Это — что частная жизнь выше всего (“Уединенное” - Розанов 1990: 66).

Можно вспомнить и другое эпатажное заявление Розанова:

Папириска после купанья, малина с молоком, малосольный огурец в конце июня, да чтобы сбоку прилипла ниточка укропа (не надо снимать) — вот мое “17-е октября”. В этом смысле я “октябрист” (Розанов 1990: 198).

Иными словами, “политическая” программа Розанова сводится к “малосольному огурцу в конце июня”, т. е. вполне обывательская. Но для Ремизова существовал не только провоцируемый самим Розановым образ обывателя, монархиста, “реакционера” и “ретрограда”, шокировавшего своими заявлениями так называемую “либеральную” (и “прогрессивную”) общественность. Это — образ Розанова как философа и публициста, многие идеи которого Ремизов не принимал и, следовательно, позволял себе их пародировать, доводя порой до шаржа, карикатуры (см.: Данилевский 1987: 153-160; Данилевский 1992: 98-100). Но гораздо ближе был Ремизову другой образ Розанова — Розанова-человека, многолетнего друга, проникновенный некролог которому Ремизов поместил в главе “Три могилы”:

Напишут сотни книг, воспоминаний, станет Розанов — главой в *Истории русской литературы*, я же помяну Василия Васильевича,

нашего соседа, сердечность его и отзывчивость — много выпало в жизни ему беды житейской! — и благословение его *любви* [курсив Ремизова - С. Д.], которой жив и крепок вечно раздорный человеческий грешный мир (Ремизов 1991: 392).

Чисто человеческие качества Розанова Ремизов понимал и ценил как никто другой. Свою книгу о Розанове-человеке Ремизов назвал обезьяньим словом *Кукха*, и обезвелволпальскую мифологию вне розановского контекста понять нельзя (пожалуй, не будет ошибкой сказать, что Розанов — один из “источников” и одна из “составных частей” Обезвелволпала). Не случайно розановская “кукха” (на обезьяньем языке — “влага”) — это, по мнению Ремизова, “сама живая жизнь”, “вырастающая человеком в самочеловека — в пирамиду В. В. Розанов” (Ремизов 1923: 75-76). Или — “начало и происхождение вещей”, вечное, как сама жизнь, в отличие от войн и революции.

Учитывая такую черту ремизовского художественного мышления, как стремление реалиям быта придавать мифологический, экзистенциальный смысл, возьмем на себя смелость предположить, что его “чай”, оставаясь явлением быта, в то же время может быть понят как синтез “вещей”, которые обозначаются 3-мя обезьяньими словами: *огонь + влага (вода) + еда = “чай”*. Истинные обезьяньи ценности противостоят ложным “человеческим” — а priori общественным и политическим.

В ремизовском императиве “чай пить” кроется еще один мотив — это форма протеста против революции, и одновременно — продолжение давнего спора с Б. В. Савинковым, олицетворявшим для Ремизова саму идею революции (ср.: “Я смотрел на Савинкова всегда, как на революционера...” - 1986: 268) в ее наиболее радикальных проявлениях, таких, как фанатизм, насилие, террор, равнодушие к судьбе и жизни отдельного человека — во имя революционной идеи.

Начало этого спора, по всей видимости, относится к 1902-1903 гг., когда Ремизов, как и Савинков, отбывал политическую ссылку в Вологде. Уже тогда Ремизов понял чуждость для себя революционной деятельности и революционной идеологии:

Такое чувство: не туда попал. Очень я не подходил ни к кому, с кем привела судьба жить. Все жили под знаком “революция”, а у меня было еще что-то, что было выше “революции”. У них было “общее”, а я хотел “по-своему” (1985: 153).

В Вологде Ремизов окончательно порывает с революционным движением, а в конце 1902 г. подвергается бойкоту за якобы “разлагаю-

щее влияние” на С. П. Довгелло, также отошедшую от революционной деятельности (хотя ей предназначалось сыграть важную роль в боевой организации партии эсэров):

И началось на меня гонение. Коноводом стал Б. В. Савинков. И. П. Каляеву просто запрещено было со мной видеться. Я остался кругом один (1985: 156).

А вспоминает Ремизов этот эпизод вологодской жизни после разговора с Б. Савинковым 30. IV. 1917 г.:

А я все хотел спросить: помнит ли он, как еще в Вологде однажды я вот, как теперь, этот вопрос: “Революция или чай пить?” Понял ли он — двадцать лет прошло! — что меня тогда мучило?

В Вологде, где было так тесно, я чувствовал в себе, как и теперь, этот упор — быть самим собой (1991: 265).

Сам Ремизов нежелание подчиняться диктату “партийных” целей и обязанностей, а priori подавляющих свободу человека жить по-своему, определяет знаменательным выражением: “чай-то мой поперечный” (1991: 265). О нравах и настроениях колонии политических ссыльных в Вологде свидетельствует и Н. А. Бердяев, отбывавший ссылку в одно время с Ремизовым:

За много лет до образования у нас большевизма я столкнулся с явлением, которое можно было назвать тоталитаризмом русской революционной интеллигенции, с подчинением личной совести групповой, коллективной. Тенденция к подавлению личности всегда была. Когда большая группа ссыльных приехала в Вологду, то возник, между прочим, глупый вопрос о том, нужно ли подавать руку полицмейстеру, и его хотели решить коллективно (Бердяев 1991: 127).

В Вологде Ремизов вместе с П. Щеголевым, О. Маделунгом и Н. Бердяевым принадлежал к “аристократии”, т. е. небольшой группе ссыльных, которая, по воспоминаниям последнего, “была более независима в своих суждениях от коллектива, более индивидуалистична и свободна в своей жизни...” (Бердяев 1991: 128). В pendant к вопросу о том, имеет ли право политический подавать руку полицмейстеру, — Ремизов в *Иверне* вспоминает другой эпизод: обыск на его квартире в Усть-Сысольске весной 1901 г., после которого он вдруг предложил пристава и городовым: “Самовар поспел, давайте чай пить!” (1986: 170). Те отказались, а потом, как вспоминает Ремизов, “от своих мне будет укор: “чего с полицией возжаюсь?” — а я, ей-Богу, искренно о чае” (1986: 171). Показательный пример того, как совершенно естественное

человеческое намерение приходит в противоречие с коллективным “моральным долгом” и “партийной дисциплиной”. Свою позицию относительно “революции” Ремизов определил еще в годы вологодской ссылки:

В “революционеры” я себя не предназначаю, на “подпольное” и “партийное” дело не гожусь, меня тянет на простор — на волю, без оглядки и “что хочу”, а не то, “что надо”, по своей воле и пусть в темную, но отвечаю сам за себя (1986: 204).

И первой попыткой протеста против подавления личности партийной идеологией, революционной моралью, было создание в Усть-Сысольске, а затем в Вологде (под названием “Клуб свободных алкоголиков”) сообщества ссыльных, в котором царил дух дружеского общения и шуточных розыгрышей. Потом, много лет спустя, Ремизов назовет эти собрания ссыльных “Устьсысольской обезьяньей великой вольной палатой” (см.: Обатнина 1996: 185-186).

Суть “идеологии” Обезвелволпала, как это следует из опыта вологодского “Клуба свободных алкоголиков”, его прообраза, заключается в отказе от всякой идеологии (политической, религиозной, философской или литературной), которая подавляет свободу человека “быть самим собой”. В этом смысл “свободновыраженной анархии” Обезвелволпала, согласно которой князь или кавалер обезьяний “имеет все права без никаких обязанностей — все может и никому ничего не должен” (обезьянья грамота В. П. Никитину, 15. II. 1950 г.; цит. по: Обатнина 1996: 210).

Ремизов не отвергает революцию, ибо бессмысленно отвергать стихию, но он отказывается примириться с тем, что революция “человека топчет” — ломает человеческие судьбы: “Да, потому и наперекор: ведь катастрофа-то [революция - С. Д.] для человека, а человека топчет!” (1991: 252). В дневниковой записи 1920-х годов он сформулирует свою позицию еще проще:

Революция шла во имя народа для народа — воля народа. И вот достиг народ власти и во главе стали революционеры.

А “подпольный человек” говорит:

— Народ или я?

— Я. И подчиняться “воле народа” не желаю: под ничью дудку или “не-народа” плясать не буду.

— Враг народа.

— Нет, какой же я враг, но принимаю и это имя во имя свободы моего я (1994: 513-514).

Поэтому его голос — “голос человека о своем праве быть человеком”:

— Одно хочу я, раз уж такая доля и я застигнут бурей, и я, беззащитный, брошенный среди беспощадной бури, я хочу под гром грозы и гремящие вихри, сам, как вихрь, наперекор <...> взвищу теснящихся вещей, с которыми сражен, как утробный, продираясь сквозь живую, бьющуюся живым сердцем толчею жизни, я хочу этой же самой жизни, через все ее тысячекратные громы под хлест и удары в отдар —

прокурекать петухом (1991: 270).

“Прокурекать петухом” — эта форма протеста против насилия, жестокости, бесчеловечности вновь возвращает нас к “обезьянней” утопии Ремизова, т. к. еще в рассказе-сне “Обезьяны” (1905) предводитель шимпанзе таким же образом протестует против жестокой казни, учиненной над обезьянами на Марсовом поле, против смерти, которую несет “всадник, весь закованный в зеленую медь”: “Я, предводитель обезьян Австралии, Африки и Южной Америки, прокричал гордому всаднику и ненавистной мне смерти трижды петухом” (1991: 390). Символично, что свой ранний рассказ Ремизов включил в книгу *Взвихренная Русь* с другим, более красноречивым заглавием: “Асыка”, тем самым подчеркнув актуальность обезьяньего бунта именно в 1917-1920 гг., эпоху “мятежей и казней”. Петушиный крик предводителя обезьян мотивирован иконографией Асыки-Абраксаса (см.: Доценко 1991: 76-78), но не отменяет и другие фольклорно-мифологические и литературные коннотации (в частности, мотив рассеяния нечисти, сна-наваждения — и наступления утра, нового дня; см.: Минц, Безродный, Данилевский 1984: 89-91; Безродный 1992: 213-214). Петушиный крик, прогоняющий тьму, нечисть, смерть и возвещающий наступление утра, света, жизни, явно соотносится и с главной идеей *Слова о погибели русской земли* (также включенного во *Взвихренную Русь*): *смерть и воскресение России*.

Если революционный подтекст сна “Обезьяны”, написанного в 1905 году, в год первой русской революции, имеет скорее имплицитный характер, то в его II-й редакции, озаглавленной “Асыка” (1927), связь с современными событиями раскрывается самим текстом при помощи включения в него реалий 1917 г.: “нас выстроили, как красноармейцев, на Марсовом поле” (1991: 390). В I-й же редакции вместо “красноармейцев” фигурировали “солдаты”. Так сцена казни обезьян на Марсовом поле обретает новый символический смысл — 23. III. 1917 г. здесь были похоронены жертвы февральской революции (см. гл. “Жертв рево-

люции”), а в 1918-1919 гг. — участники гражданской войны (тогда же был сооружен памятник “Борцам революции”). Марсово поле в Петрограде превратилось в кладбище жертв революции, а у Ремизова в лобное место, где “земля взбухла от пролитой обезьяньей крови” (1991: 390).

События, идеи, настроения революционных лет своеобразно отразились в оппозиционно-бунтарском обезьяньем царстве Ремизова — Обезвельволпале, стремившемся стать положительной альтернативой той политической реальности, которая возникла в России в 1917-1921 гг., стать истинным “царством свободы”, в которое стоило “пролагать дорогу”.

#### ЛИТЕРАТУРА

- Безродный М. В.  
1992 Об одном приеме художественного имяупотребления (*Nomina sunt odiosa*). — В честь 70-летия профессора Ю. М. Лотмана. Сб. статей. Тарту, Эйдос, 1992, с. 210-217.
- Бердяев Н. А.  
1991 Самопознание. Опыт философской автобиографии. Москва, Книга, 1991.
- Данилевский А. А.  
1987 Герой А. М. Ремизова и его прототип — Ученые записки Тартуского государственного университета (1987) Вып. 748: 150-165.  
1992 Из комментариев к “Кукхе” А. М. Ремизова — *Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia*. III. Проблемы русской литературы и культуры. Helsinki 1992, с. 93-102.
- Достоевский Ф. М.  
1989 Собрание сочинений в 15-ти тт. Ленинград, Наука, 1989. Т. 4.
- Доценко С. Н.  
1991 Почему обезьяна кричит петухом. Об одном мотиве у А. Ремизова. — Тезисы докладов научной конференции “А. Блок и русский постсимволизм”. Тарту 1991, с. 76-78.
- Миц З. Г., Безродный М. В., Данилевский А. А.  
1984 “Петербургский текст” и русский символизм. — Ученые записки Тартуского государственного университета (1984) Вып. 664: 78-92.

Обатнина Е.

- 1996 "Обезьянья Великая и Вольная Палата". Игра и ее парадигмы. — Новое литературное обозрение (1996) № 17: 185-217.

Одоевцева И.

- 1988 На берегах Невы. Москва, Художественная литература, 1988.

Резникова Н. В.

- 1980 Огненная память. Воспоминания о Алексее Ремизове. Berkeley, Berkeley Slavic Specialties, 1980.

Ремизов А. М.

- 1917 Среди мурья. Рассказы. Москва, Северные дни, 1917.  
1923 Кукха. Розановы письма. Берлин, Изд-во З. И. Гржебина, 1923.  
1981 Встречи. Петербургский буерак. Paris, Лев, 1981.  
1983 Учитель музыки. Каторжная идиллия. Paris, La Presse Libre, 1983.  
1985 На вечерней заре. Переписка А. Ремизова с С. П. Ремизовой-Довгелло. Подг. текста и комментарий А. д'Амелия — Europa Orientalis IV (1985): 149-190.  
1986 Иверень. Загогулины моей памяти. Berkeley, Berkeley Slavic Specialties, 1986.  
1990 Повести и рассказы. Москва, Художественная литература, 1990.  
1991 Взвихренная Русь. Москва, Советский писатель, 1991.  
1991a Избранное. Ленинград, Лениздат, 1991.  
1993 Инскрипты А. М. Ремизова из коллекции А. М. Луценко. СПб., Эхо, 1993.  
1994 Дневник 1917-1920 гг. Вступительная заметка и комм. А. М. Грачевой. — Минувшее. Исторический альманах 16. М.-СПб., Atheneum-Феникс, 1994, с. 407-549.

Розанов В. В.

- 1990 Сочинения. Ленинград, Всесоюзный молодежный книжный центр, 1990.

Цивьян Т. В.

- 1993 К семантике и поэтике вещи. Несколько примеров из русской прозы XX века. — AEQUINOX (Эквинокс - равноденствие) МСМХСIII. Москва, Изд-во Книжный сад, 1993, с. 212-227.

Шаховская З. А.

- 1991 Ремизовы. — В поисках Набокова. Отражения. Москва, Книга, 1991, с. 121-133.

Японский В. С.

- 1993 Поля Елисейские. Книга памяти. СПб., Пушкинский фонд, 1993.

Aronian S.

- 1992 Remizov. Revolution and Apocalypse. — Canadian-American Slavic Studies 26 (1992) 1-3: 119-140.



Pajman A.

- 1987 Алексей Михайлович Ремизов. По воспоминаниям 1948-1957 гг. —  
Aleksej Remizov. Approaches to a Protean Writer. Ed. by G. Slobin.  
Columbus (Ohio), 1987, pp. 101-112.

Sinany-MacLeod H.

- 1987 Структурная композиция “Взвихренной Руси”. — Aleksej Remizov.  
Approaches to a Protean Writer. Ed. by G. Slobin. Columbus (Ohio), 1987,  
pp. 237-244.

Slobin G.

- 1991 Remizov's Fictions. 1900-1921. De Kalb, Northern Illinois University  
Press, 1991.

Waszkielewicz H.

- 1994 Modernistyczny starowiec. Główne motywy prozy Aleksego Riemizowa.  
Kraków, Uniwersytet Jagiellónski, 1994.